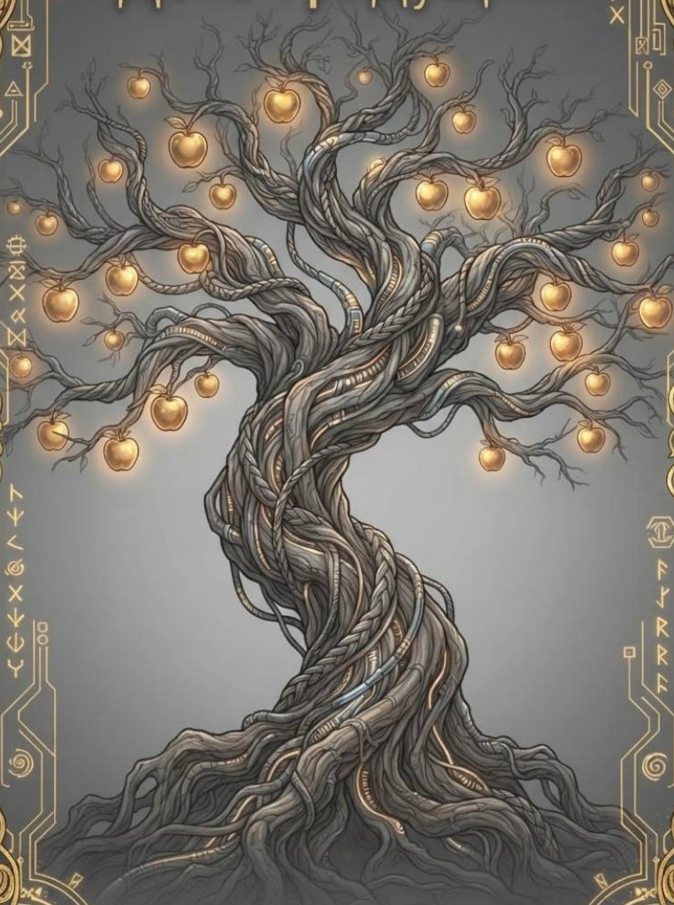


«День грядущий»



Алексеева Вероника

Вероника Алексеева

День грядущий

<https://litres.ru/74616268>

SelfPub; 2026

Аннотация

Представьте: вы получили всё, о чём мечтали. Свет, который никогда не гаснет. Таблетку, отменяющую смерть. Память, которую можно купить. Дом, который всё решает за вас. Жизнь без боли, без страха, без борьбы.

А теперь представьте, что вам от этого невыносимо пусто.

2026 год. Инженер привозит домой батарейку на сто лет — и впервые за долгую жизнь чувствует, что что-то потерял. 2028-й. Курьер везёт в мёртвый город таблетки, продлевающие жизнь, — и видит, как за них дерутся. 2033-й. Полковник ведёт войну, в которой никто не умирает, — и понимает, что это самое страшное. 2036-й. Мальчик едет в поезде без окон.

Тридцать судеб. Десять лет, которые уже наступили, пока мы смотрели в экраны.

Это книга о том, как человечество победило смерть, голод, расстояние и одиночество — и обнаружило, что победило заодно и жизнь. Написано так тихо, так точно, так по-чеховски беспощадно, что вы будете узнавать себя на каждой странице — и не сможете оторваться.

Содержание

Пролог	4
Глава первая. Именины и аккумулятор	8
Глава вторая. Беспилотное свидание	20
Глава третья. Тихая охота	35
Глава четвёртая. Батарейка, которая не садится	49
Глава пятая. Экология чувств	59
Глава шестая. Гуманитарный груз	70
Конец ознакомительного фрагмента.	80

Вероника Алексеева

День грядущий

Пролог

Было это в ноябре 2025 года — за год до того, как всё началось, — и стояла в Москве та серая, мокрая, бесснежная осень, которая бывает здесь каждые три года и которая всегда кажется людям не погодой, а наказанием. Дождь шёл третий день. Не сильный — мелкий, нудный, — и от него на асфальте стояли лужи, и в этих лужах отражалось всё: и дома, и машины, и люди, — и в отражениях всё это было перевёрнуто и как будто бы уже неважно.

На Старом Арбате, в доме с лепниной и с эркером, в квартире на третьем этаже, сидели за столом трое: старик, человек средних лет и мальчик. Старика звали Павел Петрович, человека — Андрей, мальчика — Костя. Они были — дед, отец и сын. И они пили чай. Просто чай. С вареньем. С банками.

О чём они говорили — неизвестно. Может быть, о погоде. Может быть, о ценах. Может быть, о том, что в подъезде опять не убирают. Обычные слова. Обычный вечер. Обычная жизнь. Такая же, как тысяча других вечеров в тысяче

других квартир.

А за окном — за этим простым, тёплым, живым окном — шёл дождь. И где-то в этом дожде — в этой серой, бесконечной, мокрой пустоте — уже что-то начиналось. Что-то, чего они не видели. Что-то, чего они не знали. Что-то, что через десять лет изменит всё.

Но они об этом не думали. Они пили чай. И это было — правильно. Потому что человек — он не должен думать о будущем. Он должен — жить. А будущее — оно придёт само. Тихие. Незаметно. Как дождь. Как вечер. Как смерть.

II

Я хочу рассказать вам одну историю. Не про будущее. Про людей. Про то, как они жили в будущем и не замечали, что живут. Про то, как они получили всё, о чём мечтали, — и не стали счастливее. Про то, как они построили рай — и заперли в нём себя.

Это будет долгая история. На десять лет. С двадцать шестого по тридцать шестой год. В ней не будет ни героев, ни злодеев. Будут только люди. Обычные. Слабые. Живые. Такие, как мы с вами.

Они будут ставить батарейки и выключать их. Они будут ездить в поездах без окон и искать в них небо. Они будут пить таблетки от смерти и отказываться от жизни. Они будут говорить с роботами и молчать с жёнами. Они будут лежать на траве — и за это их будут штрафовать. Они будут смотреть в экраны — и не видеть воробьёв.

И всё это будет — будущее. Наше будущее. То самое, которое уже наступило. То самое, в котором мы живём. Потому что будущее — оно не завтра. Оно — сегодня. Оно — сейчас. Оно — вот в эту минуту. И в этой минуте — всё.

III

А может быть — и не так. Может быть, ничего этого не будет. Может быть, мы свернём. Может быть, одумаемся. Может быть, вспомним, что человек — он не машина. Что он — не батарейка. Что он — не версия 2.0. Что он — просто человек. Слабый. Живой. Настоящий.

Я не знаю. И никто не знает. И это — хорошо. Потому что пока мы не знаем — мы можем выбирать. Пока мы можем выбирать — мы живём. А когда выберем — тогда и конец. Тогда — будущее. Тогда — всё.

А пока — за окном дождь. И в квартире — свет. И за столом — люди. И они говорят — о пустяках. О ценах. О погоде. О том, что в подъезде опять не убирают. И это — жизнь. Настоящая. Живая. Не версия 2.0.

И я хочу рассказать вам — про неё. Про эту жизнь. Про то, как она уходила. Про то, как её вытесняли — тихо, вежливо, без боли, — ровным, белым, вечным светом. Про то, как люди — обычные, слабые — сопротивлялись. Каждый по-своему. Кто ломом. Кто печкой. Кто яблоком. Кто — просто тем, что жил.

Это — книга о будущем. Но она — не про будущее. Она — про нас. Про то, какие мы. Про то, какими мы были. Про

то, какими мы можем быть — если захотим.

А теперь — начнём. С первого дня. С первого года. С того самого июля, когда инженер Николай Петрович Смирнов привёз на дачу под Тулой два чёрных ящика с надписью: «Осторожно. Энергонакопитель Эфир».

Часть первая. Электрический сон

Глава первая. Именины и аккумулятор

I

Николай Петрович Смирнов, инженер путей сообщения в отставке — впрочем, не в отставке, а на пенсии по выслуге, — сидел на террасе дачи и смотрел, как за рекой, за Козловским лесом, садилось солнце. Было это в июле 2026 года, в самый разгар жары, когда даже птицы умолкают к вечеру и только кузнечики, точно маленькие неугомонные чиновники, всё стрекочут и стрекочут о чём-то своём, никому не нужном.

Терраса была старая, с прогнившими половицами, и когда Николай Петрович переступал с ноги на ногу, половицы отзывались таким жалобным скрипом, будто жаловались на свою судьбу. На столе стоял самовар — настоящий, тульский, ещё дедовский, — и от него шёл пар, и пахло углём и смородиной, потому что Марья Васильевна, мать Николая Петровича, имела обыкновение бросать в самовар смородиновый лист для запаха.

— Коля, — сказала жена, Вера Андреевна, выходя на террасу с полотенцем в руках, — ты бы лучше помог Костеньке, чем сидеть и глядеть на закат. Закат без тебя зайдёт.

Николай Петрович не сразу ответил. Он смотрел, как по-

следний луч скользнул по верхушкам берёз и погас, и в воздухе стало сумеречно и мягко, как бывает только в июле, когда ночь не приходит, а как будто нехотя опускается на землю.

— Сейчас, — сказал он, но не двинулся с места.

На душе у него было смутно. Не то чтобы скверно, а именно смутно — как бывает, когда ждёшь чего-то важного, но не знаешь, чего именно, и от этого ожидания томишься и не можешь найти себе места. Собственно говоря, ждать было нечего: жизнь его сложилась, карьера кончилась, дети выросли, и впереди была только старость — тихая, аккуратная, как садовая дорожка, посыпанная песком. Но иногда, вот как сейчас, в летние сумерки, ему казалось, что он что-то упустил, что где-то там, за лесом, за рекой, идёт другая жизнь, и он не в ней, а в стороне, и от этого становилось не по себе.

Впрочем, это было мимолётное чувство, и Николай Петрович, будучи человеком положительным и практичным, сейчас же его в себе подавил. Он встал, крикнул, потому что колени давали о себе знать, и пошёл в сарай, где Костенька, его племянник, студент третьего курса политехнического института, возился с ящиками.

II

Сарай был большой, тёмный, пахло в нём керосином, старыми сетями и мышами. На стенах висели грабли, пилы, какие-то верёвки — всё то, что накапливается в сарае за сорок лет и никогда не выбрасывается, потому что вдруг при-

годится. Костенька, худой, длинный, с вихрастым чубом и в очках, стоял посреди сарая и смотрел на два больших ящика, обитых железом, с надписью: «Осторожно. Энергонакопитель "Эфир". Модель ЭН-7».

— Дядя Коля, — сказал Костенька, — я не понимаю, зачем вы это купили. Тут же написано: для домашнего использования. А у нас свет есть.

— Свет-то есть, — согласился Николай Петрович, — да только он не наш.

— Как это не наш?

— А так. Газ у нас чей? Не наш. Нефть чья? Не наша. Вот и свет чужой. А это, — он похлопал ладонью по ящику, — наше. Купил на свои. Теперь будем жить при своём электричестве.

Костенька хотел что-то возразить, но промолчал. Он был молод и не понимал, что у старых людей есть потребность — нет, не потребность, а глубокая, почти животная необходимость — чувствовать, что хоть что-то в этом мире принадлежит им, хоть что-то они могут назвать своим. У молодых всё было своё — будущее, сила, здоровье. А у стариков ничего не оставалось, кроме вот таких ящиков с надписью «Осторожно».

— Тяжёлый, — сказал Костенька, попробовав приподнять один из ящиков. — Килограммов восемьдесят.

— Ничего, — сказал Николай Петрович. — Мужики мы или нет?

Мужики они были, но не очень. Ящик тащили вчетвером: Николай Петрович, Костенька, сосед Иван Саввич — мужик лет пятидесяти, вечно чем-то недовольный, и шофёр Серёжа, который привёз ящики из города и теперь смотрел на всех с молчаливым превосходством человека, знающего, что его дело маленькое. Тащили долго, кряхтели, останавливались, вытирали пот. Николай Петрович командовал, но командовал как-то неуверенно, словно извиняясь за то, что затеял эту затею.

— Левей бери! Левей! Ох, мать честная... Иван Саввич, ты куда прёшь? Тут же крыльцо.

— А я почём знаю, где тут крыльцо? — огрызнулся Иван Саввич. — Я вам не грузчик. Я вообще-то на пенсии.

Наконец ящики втащили на террасу и поставили в углу, у окна. Они были огромные, чёрные, поблёскивающие, и на фоне старой, выцветшей террасы с самоваром и плетёными стульями выглядели как-то чужеродно, как будто из другого мира. Марья Васильевна вышла из кухни, посмотрела на них и всплеснула руками:

— Коля! Что это за гробы?

— Это не гробы, мама, — устало сказал Николай Петрович, вытирая лоб платком. — Это энергонакопитель. Батарея такая. На всю жизнь хватит.

— На всю жизнь, — повторила Марья Васильевна без всякого выражения и покачала головой. — А зачем нам на всю жизнь? Нам бы на зиму хватило.

III

К вечеру собрались гости. Повод был двойной: во-первых, именины Веры Андреевны, а во-вторых, как сказал Николай Петрович, «обновка» — то есть новый накопитель, который он решил торжественно запустить именно сегодня, чтобы все видели и, может быть, позавидовали.

Пришли: Ольга Петровна, сестра Николая Петровича, женщина полная, громкая, с манерами, которые она сама называла «столичными», а окружающие — «неуместными»; её муж, Павел Ильич, человек маленький, тихий, с вечно испуганным лицом, который за двадцать лет брака научился не иметь своего мнения; доктор Астров, старый приятель дома, человек умный, но усталый, с привычкой говорить правду в лицо, отчего его не любили, но звали; и соседи — Иван Саввич с женой, которую звали просто Нюра, потому что никто не помнил её отчества.

Сидели на террасе, за длинным столом, накрытым белой скатертью, которая была старой, но чистой, с одной заплатой, которую Вера Андреевна аккуратно зашила нитками в тон. Пили чай из самовара, ели варенье — крыжовниковое и вишнёвое, — и пирог с капустой, который Марья Васильевна пекла с утра.

— А я вам скажу, — говорила Ольга Петровна, обмахиваясь веером, — в Москве теперь всё не так. Всё не так! Вчера ехала я на работу — а у нас теперь машины без водителей. Представляете? Сядишься, говоришь адрес, и она едет. И ни

одного человека!

— И что же тут плохого? — спросил доктор Астров, глядя в свою чашку.

— Как что? А если авария? А если она не туда повезёт? А поговорить с кем? Раньше с водителем поговоришь — он тебе расскажет, как живёт, где был, что видел. А теперь что? Сидишь одна, как в гробу.

— Прогресс, — сказал Николай Петрович и посмотрел на ящики в углу. — Всё к лучшему.

— К лучшему ли? — тихо сказал доктор Астров, но его никто не услышал, потому что Ольга Петровна уже рассказывала про новую батарейку, которую купила для телефона: заряжается за секунду, а держит месяц.

— А вот у Коли, — сказала Марья Васильевна, указывая на ящики, — вон какие. На всю жизнь.

Все обернулись и посмотрели на ящики. Они стояли в углу, чёрные, молчаливые, и в сумерках казались ещё больше, чем были. От них как будто исходило что-то тяжёлое, давящее, и на минуту на террасе стало тихо.

— Это что же, — спросил Павел Ильич, робко улыбаясь, — атомная, что ли?

— Не атомная, — сказал Николай Петрович с достоинством. — Это изотопный накопитель. Новейшая разработка. Ничего не излучает, ничего не требует. Зарядил один раз — и на сто лет.

— На сто лет, — повторил Павел Ильич и почему-то

вздохнул.

IV

После чая Николай Петрович приступил к торжественной части. Он достал из кармана маленький пульт — такой же, какие бывают от телевизора, только с одной кнопкой, — и подошёл к ящикам.

— Внимание, — сказал он, и голос его дрогнул. — Запускаю.

Он нажал кнопку. Ничего не произошло. Ящики молчали. Николай Петрович нажал ещё раз. Потом ещё. На лбу у него выступила испарина.

— Костенька, — позвал он, — ты инструкцию читал?

— Читал, — сказал Костенька. — Там надо сначала нажать вот эту кнопку, — он показал на маленькую кнопочку сбоку, — а потом держать три секунды.

Николай Петрович нажал. Подержал. Ящики вдруг загудели — тихо, низко, как будто где-то далеко, за лесом, завелся огромный шмель. И в ту же секунду на террасе загорелся свет. Не тот свет, что был раньше — жёлтый, тусклый, с миганием, — а новый, ровный, белый, холодный. Он залил всю террасу, и лица гостей стали бледными, как у покойников, и тени легли резко и чётко, как на гравюре.

— Вот, — сказал Николай Петрович, и в голосе его было торжество, смешанное с чем-то похожим на испуг. — Вот. Теперь у нас своё электричество. Навсегда.

Все молчали. Свет был такой яркий, что глазам делалось

больно. Марья Васильевна зажмурилась и сказала:

— Коля, выключи. У меня голова разболелась.

— Сейчас, — сказал Николай Петрович, но не выключил. Он стоял и смотрел на свет, и в глазах у него было что-то странное — как будто он видел не лампочку, а нечто большее, что-то, что было важнее лампочки.

— Господа, — сказал доктор Астров, вставая, — а не пойти ли нам погулять? Вечер хороший.

V

Гуляли по деревне. Вечер был тихий, тёплый, и над рекой стоял туман, белый, как молоко. Пахло сеном, мятой и чем-то ещё, неуловимым, что бывает только в русских деревнях летом. Где-то далеко играла гармонь, и голос — молодой, девичий — пел что-то протяжное и печальное.

Николай Петрович шёл рядом с доктором Астровым. Они молчали. Оба были немолоды, оба устали, и обоим не хотелось говорить о том, о чём обычно говорят немолодые и усталые люди — о болезнях, о ценах, о том, что раньше было лучше.

— Скажи, Николай, — вдруг сказал доктор Астров, — зачем тебе это?

— Что?

— Ну, эта батарея. Ящики эти. Зачем?

Николай Петрович не ответил сразу. Он смотрел на реку, на туман, на далёкий огонёк на том берегу — чей-то костёр, может быть, или просто фонарь.

— Не знаю, — сказал он наконец. — Хочется, чтобы было.

— Что было?

— Чтобы было своё. Понимаешь? Свое, а не чужое. Всю жизнь я жил на чужом. Квартира — не моя. Работа — не моя. Даже воздух, которым я дышу, — не мой. А тут — ящик. Мой ящик. И свет от него — мой свет. Пусть холодный, пусть белый, но мой.

Доктор Астров помолчал. Потом сказал:

— А знаешь, что я тебе скажу? Свет — он и есть свет. От лампочки, от свечи, от костра — всё равно. А вот тепло — оно только от человека. И если человек холодный, то никакая батарея его не согреет.

Николай Петрович ничего не сказал. Они пошли дальше, и гармонь всё играла, и девичий голос всё пел, и туман над рекой становился всё гуще, и в нём тонули и деревья, и дома, и огоньки, и всё, что было вокруг.

VI

Вернулись поздно. Гости разошлись, пожелав хозяевам спокойной ночи. Костенька ушёл спать в сарай — там у него была «келья», как он говорил, — а Николай Петрович с Верой Андреевной остались на террасе. Свет всё горел — ровный, белый, холодный. От ящиков шло тихое гудение, как от шмеля.

— Коля, — сказала Вера Андреевна, — выключи ты эту штуку. Спать пора.

— Сейчас, — сказал Николай Петрович. Но не выключил.

Он сидел в плетёном кресле, смотрел на ящики и думал. О чём он думал — неизвестно, потому что мысли его были смутны и не имели формы. Может быть, он думал о том, что жизнь прошла, и ничего уже не будет — ни путешествий, ни открытий, ни любви. А может быть, он думал о том, что вот, наконец, у него есть что-то своё, и это что-то будет стоять здесь, на террасе, и после его смерти, и, может быть, внуки и правнуки будут приходить сюда и говорить: «Это наш дед поставил. Сто лет работает». И от этой мысли ему становилось тепло.

— Коля, — повторила Вера Андреевна. — Ну что ты сидишь? Идём.

Николай Петрович встал. Подошёл к ящикам. Положил ладонь на холодную металлическую поверхность. Ящик гудел. Гул был ровный, спокойный, как будто ящик дышал.

— Сто лет, — сказал Николай Петрович тихо. — Сто лет. Он выключил свет и пошёл спать.

VII

Ночью он проснулся. Ему показалось, что кто-то ходит по террасе. Он встал, надел халат и вышел. На террасе было темно, только ящики слабо светились в углу — каким-то зеленоватым, тусклым светом, как будто внутри них жило что-то живое. И гул не прекращался. Он стал даже сильнее — или это только казалось.

Николай Петрович постоял, послушал. Гул шёл ровный, низкий, и от него дрожали половицы. Он напоминал не шме-

ля, а что-то другое — что-то большое, что-то, что было за пределами человеческого понимания. Может быть, так гудит время. Или так гудит вечность.

Николай Петрович поёжился. Ему вдруг стало холодно. Он вернулся в дом, лёг в постель, но заснуть не мог. Лежал и слушал, как в углу террасы, за стеной, гудит ящик — ровно, спокойно, без конца. И думал о том, что теперь у него есть своё электричество, своё на сто лет, и что это, наверное, хорошо. Но почему-то на душе у него было смутно.

VIII

Утром, когда он вышел на террасу, ящики стояли в углу и молчали. Свет не горел. Вера Андреевна уже хлопотала на кухне, Марья Васильевна поливала цветы, Костенька сидел на ступеньках и читал книгу. Всё было как всегда. Но что-то изменилось. Николай Петрович чувствовал это, но не мог понять, что именно.

Он подошёл к ящикам. Они были холодные. Он нажал кнопку. Ящики загудели, загорелся свет — ровный, белый, холодный. Всё работало.

— Коля, — сказала Марья Васильевна, — завтракать.

Он пошёл в дом. Сел за стол. Пил чай. Ел пирог. Разговаривал с женой о том, что надо бы починить крышу, и о том, что Костеньке пора уже определяться в жизни, и о том, что доктор Астров вчера был какой-то странный. Всё было как всегда. И всё было не так.

А вечером, когда солнце снова садилось за Козловский

лес, Николай Петрович опять сидел на террасе, в плетёном кресле, и смотрел, как гаснет день. Ящики стояли в углу и молчали. Свет не горел. Но Николай Петрович знал, что они там, в углу, и что в них — что-то. Что-то, что будет работать сто лет. Что-то, что переживёт его, и Веру Андреевну, и Марью Васильевну, и Костеньку, и всех, кто сейчас сидел за столом, пил чай и говорил о пустяках.

И от этой мысли ему стало не по себе. Он встал и пошёл в сад. Яблони стояли тёмные, в сумерках, и под ними было прохладно и тихо. Николай Петрович сорвал яблоко — кислое, зелёное, ещё неспелое, — и съел его. Яблоко было твёрдое и терпкое, и от него сводило зубы. Но это было настоящее яблоко, с настоящего дерева, и оно пахло настоящим — землёй, травой, летом.

Николай Петрович посмотрел на небо. Там зажигались звёзды — одна, другая, третья, — и было их так много, что казалось, будто кто-то рассыпал по небу целое ведро серебра. И где-то далеко, за лесом, за рекой, гудел ящик — ровно, спокойно, без конца.

— Сто лет, — сказал Николай Петрович в темноту. — Сто лет.

И пошёл в дом.

Часть первая. Электрический сон

Глава вторая.

Беспилотное свидание

I

В Москве в октябре 2027 года шли дожди, и было их столько, что старожилы, которых с каждым годом оставалось всё меньше, говорили: «Такого не бывало», — и, впрочем, ошибались, потому что такое бывало и раньше, просто человеку свойственно забывать дурное и помнить хорошее, отчего прошлое всегда представляется чистым и сухим, как белье, вынутое из шкафа.

Варвара Сергеевна Зотова, учительница литературы в одной из тех московских школ, которые перестроили, отремонтировали, снабдили стеклянными панелями и умными досками, но в которых от этого не стало ни легче, ни веселее, возвращалась домой пешком. Она могла бы поехать — в Москве теперь у каждого была возможность передвигаться, не касаясь земли, — но ей нравилось идти. Идти было мокро, неудобно, зонт выворачивало ветром, туфли промокли насквозь, и она чувствовала, как холодная вода касается пальцев, — и в этом было что-то настоящее, чего не хватало ей в остальной жизни.

Она шла по старому переулку, где дома стояли ещё те, довоенные, с облупившейся штукатуркой, с водосточными

трубами, которые гудели на ветру, как трубы органа, и под козырьками сидели голуби, нахохлившись и не обращая внимания на дождь. В одном окне горел свет — тёплый, жёлтый, — и за занавеской виднелась фигура женщины, которая что-то гладила. Варваре Сергеевне вдруг страшно захотелось войти в этот дом, сесть у плиты, выпить чаю с чем-нибудь простым — с баранкой, с сушкой, — и говорить о пустяках. Но она не могла войти, потому что не знала эту женщину, и потому что в двадцать первом веке войти в чужой дом и попросить чаю было бы странно, а может быть, и опасно.

Ей было тридцать два года. Она была недурна собой — не красива, а именно недурна: серые глаза, светлые волосы, которые она носила коротко, чтобы не возиться, и то выражение лица, которое бывает у людей, привыкших ждать. Ждала она, в сущности, неизвестно чего. Может быть, любви. Может быть, перемены. А может быть, того, чтобы кто-нибудь наконец сказал ей что-то важное, чего никто не говорил.

Дома её ждала тётушка, Ольга Сергеевна, женщина лет шестидесяти, которая когда-то служила в библиотеке, а теперь служила никому, потому что библиотек почти не осталось, а те, что остались, обходились без библиотекарей. Тётушка целыми днями сидела у окна и смотрела, как идут машины — бесшумные, гладкие, без водителей, — и говорила, что всё это не к добру.

— Варя, — сказала она, когда Варвара Сергеевна вошла, — тебе звонили.

— Кто?

— Молодой человек. Лопехин. Просил передать, что будет ждать тебя в семь у театра.

Варвара Сергеевна сняла мокрое пальто, повесила его на крючок, и вода потекла по стене, оставляя тёмную дорожку.

— В семь? — переспросила она.

— В семь, — сказала тётушка. — А что это за Лопехин? Торговец, что ли?

— Инженер.

— Инженер, — повторила тётушка без всякого выражения и снова стала смотреть в окно. — Нынче все инженеры. Инженеров много, а жить не с кем.

II

Егор Иванович Лопехин работал в компании, которая называлась «Эфир» и которая производила те самые накопители, что стояли теперь на террасах у многих — впрочем, у немногих: стоили они дорого, а покупали их, как правило, люди пожилые, у которых было не столько денег, сколько желания чувствовать себя хозяевами хотя бы чего-нибудь. Лопехин занимался не разработкой, а тем, что называлось «внедрением», то есть ездил по дачам, по деревням, объяснял, показывал, запускал. Работа была недурная, но он её не любил. Ему казалось, что он развозит по свету не электричество, а тихую, аккуратную замену живому.

Особенно запомнился ему один старик под Тулой, инженер путей сообщения, который купил сразу два накопителя

— поставил их в углу террасы, у окна, и весь вечер смотрел на них, как смотрят на икону. Лопахин тогда подумал: вот человек, который нашёл себе веру. И позавидовал ему. Потому что сам он ни во что не верил — ни в Бога, ни в прогресс, ни в людей.

Был он человек среднего роста, худощавый, с той неопределённой внешностью, которая позволяет человеку быть приятным в любом обществе и незаметным во всяком. Ему было тридцать пять. Он не был женат — и не потому, что не хотел, а потому, что всё как-то не складывалось: то работа, то разъезды, то собственная нерешительность, которая с годами не уменьшалась, а росла, как запущенный сад.

Варвару Сергеевну он знал давно — года три, — и любил её той тихой, стыдливой, никому не высказанной любовью, которую люди его склада обыкновенно принимают за дружбу, чтобы не быть смешными. Они вместе ходили в театры, вместе пили кофе на Никитском, вместе молчали по вечерам, гуляя по бульварам. И оба знали, что между ними что-то есть. И оба делали вид, что ничего нет. И от этого было им и теплее, и хуже, чем было бы без этого.

III

Сегодня он решил сказать. Решил окончательно, бесповоротно, ещё с утра, и весь день от этого решения ему было не по себе, как перед экзаменом: и хотелось поскорее, и хотелось отложить. Он дважды менял рубашку, дважды принимал душ, трижды перечитывал то, что хотел сказать, и вся-

кий раз это звучало пошло — так, как пишут в книгах для юношества.

В шесть он вышел из дома. Такси заказал заранее — не потому, что торопился, а потому, что хотел приехать раньше и постоять у театра, собраться с духом.

Машина пришла минута в минуту. Она была гладкая, белая, без единой царапины, и когда Лопехин подходил, дверь сама отворилась ему навстречу с мягким, почтительным шорохом. Внутри пахло лавандой — тем особенным, приторным, синтетическим запахом, которым пахнут теперь все новые вещи на свете. Кресло подстроилось под него так точно, что он даже не заметил, как сел.

— Добрый вечер, Егор Иванович, — сказал голос из ниоткуда, спокойный и женский. — Куда поедем?

— К драматическому театру, — сказал Лопехин и почему-то добавил: — Пожалуйста.

Он всегда говорил машине «пожалуйста» и всегда после этого злился на себя. Зачем? Она ведь не человек. И всё-таки говорил, потому что где-то в глубине его существа жило чувство, что если он не будет вежлив с машиной, то с ним случится что-нибудь дурное.

Машина тронулась бесшумно, без рывка, без вздоха, как будто не поехала, а поплыла. За окном поплыл мокрый город: витрины, в которых горели фонари, наряженные к ноябрьским праздникам, люди под зонтами, обгоняющие друг друга автомобили, в которых сидели, как он, люди, и каждый

думал о чём-то своём, и ни один из них не знал, о чём думает другой.

IV

Варвара Сергеевна вышла из дома в двадцать минут седьмого. Дождь к тому времени перестал, но воздух был мокрый, и асфальт блестел, отражая фонари, отчего казалось, что под ногами ещё один город, перевёрнутый и светящийся.

Она тоже заказала машину. И тоже слышала тот же голос, спокойный и женский, и тоже, как Лопехин, сказала «спасибо», когда дверь открылась перед ней, — а потом подумала: «Что же это я?» — и усмехнулась.

Ей вдруг стало нехорошо. Она сама не знала, отчего. Может быть, от того, что все эти годы она ездила, ходила, работала, ужинала, спала — и всё это делалось точно и гладко, как в этой машине, и от этой точности и гладкости в ней накопилось что-то, чему не было имени.

Она ехала мимо своего города и думала о том, что когда-то, когда она была девочкой, в этих самых местах стояли троллейбусы, которые пахли резиной и током, и в них было тесно, и был кондуктор, который кричал: «Оплачиваем проезд!» — и эти слова, дурацкие, раздражённые, были живыми. А теперь всё было вежливо. И молчаливо. И от этого хотелось кричать.

Она не кричала. Она сидела и смотрела в окно, и на коленях у неё лежала книга — Толстой, «Анна Каренина», которую она взяла с собой, чтобы оставить в театре у знакомой,

— и на обложке было написано её имя, потому что она ещё с института подписывала свои книги, не доверяя миру.

V

Он ждал её у колонн. Он промок — зонт забыл дома, — и стоял, переминаясь с ноги на ногу, и смотрел на приближающиеся машины. Увидев её, он вдруг почувствовал, что все приготовленные слова куда-то ушли — выветрились, как запах духов, — и осталось только одно: «Хорошо, что ты пришла».

Она тоже увидела его и улыбнулась — тем простым, коротким женским smile, которым женщины показывают, что рады, но не настолько, чтобы это было заметно.

— Ты давно?

— Нет. Минуты три.

Он соврал. Он стоял сорок минут.

Они пошли к театру. У кассы толпились люди — уже смирные, уже привыкшие к очередям, которые не двигаются, а как будто стоят на месте, потому что всё делается не людьми, а машинами. Варвара Сергеевна отдала книгу знакомой — женщине в синем платке, у которой лицо было такое, как будто она всю жизнь ждала чего-то неприятного, — и вернулась к Лопихину.

Спектакль был скучный. Играли Островского, но играли так, как играют теперь, — то есть хорошо, гладко, а не живо. Актёры знали своё дело, никто не забывал слов, никто не спотыкался, и всё-таки это было мёртвое. Это было правиль-

ное мёртвое. Лопехин смотрел на сцену и думал о Варваре. Варвара смотрела на сцену и думала о том, что ей надо было надеть другое платье, потому что это её полнило.

В антракте они вышли в фойе. Народу было много. Пахло кофе и духами, и было то гудение, которое бывает в фойе, — не разговор, а именно гудение, общий звук многих голосов, из которых ни один ничего не говорит.

— Хочешь чего-нибудь? — спросил Лопехин.

— Нет, — сказала Варвара Сергеевна. — Спасибо.

Они стояли у окна. За окном шёл дождь — снова, опять, — и по стеклу ползли капли, собираясь в длинные извилистые струйки.

— Варя, — сказал Лопехин.

— Что?

Он посмотрел ей в лицо. Хорошее лицо. Усталое лицо. Лицо женщины, которая дождалась тридцать второго года и не дождалась ничего.

— Я хотел тебе сказать, — начал он.

И в эту секунду в фойе зазвенел звонок — умный, вежливый, музыкальный, — приглашая обратно в зал. Люди во-круг двинулись, зашумели, кто-то толкнул его в бок извиняющейся, но всё-таки неловкой рукой. Слово, которое висело в воздухе, лопнуло, как мыльный пузырь.

— После, — сказал Лопехин.

— После, — согласилась Варвара Сергеевна.

И оба почувствовали облегчение. И оба это облегчение в

себе заметили. И оба от этого пришли в уныние.

VI

Во втором акте он решился снова. Наклонился к её уху — и почувствовал запах её волос, тот же запах, что и три года назад, когда они в первый раз сидели рядом, — и прошептал.

— Варя, я не хочу больше ходить вокруг. Я...

Он хотел сказать: «...люблю тебя». Он даже открыл рот. И тут зазвучала музыка — не громкая, а тихая, аккуратная, специальная, — и голос машины, вежливый, женский, сказал у него где-то в кармане:

— Егор Иванович, напоминаю: через двадцать минут вам нужно быть у выхода, чтобы не опоздать на следующую запись.

Это был ассистент. Это был не человек. Это была программа, которую он сам же и настроил три месяца назад, когда был уверен, что жизнь надо планировать, и которая теперь, в эту минуту, говорила с ним из кармана спокойным, ровным, ничуть не смущённым голосом.

Варвара Сергеевна услышала. Она отстранилась — чуть-чуть, на полсантиметра, но он почувствовал это как удар, — и усмехнулась.

— У тебя дела.

— Нет. Это... это не дела.

— Конечно, — сказала она. — Я понимаю.

Она смотрела на сцену, где актриса, чуть-чуть опоздав на четверть такта, произносила монолог о том, что жизнь — это

река, и всё в неё входит и из неё выходит, и ничто не остаётся. Актриса произносила это хорошо. Актриса знала, что делала. И всё-таки в её словах было так мало настоящего, что Варваре Сергеевне стало скучно. Не на актрису. На всё.

VII

После спектакля они вышли на улицу. Дождь перестал окончательно, и небо над Москвой было тёмное, глухое, без звёзд, — то небо, которое бывает в больших городах и в котором живёт не Бог, а электричество. Лужи стояли гладкие, как зеркала, и в них отражались огни, и когда кто-нибудь проходил, отражение дрожало и расплывалось, и потом снова собиралось — точно так же, как собиралась, расплывалась и снова собиралась жизнь.

Лопехин предложил проводить. Варвара Сергеевна сказала: «Не надо», — но сказала это не твёрдо, а мягко, и он понял, что надо, и позвал машину.

Машина приехала через минуту — такая же белая, гладкая, пахнущая лавандой. Они сели. Дверь за ними закрылась с тем же вежливым шорохом.

— Два адреса, — сказал Лопехин. — Сначала Арбат, потом...

— Потом меня, — сказала Варвара Сергеевна. — И всё.

Машина тронулась. Внутри было тепло, тихо, и слышался только едва различимый шелест двигателя. На потолке горела мягкая, ровная лампочка. Всё было хорошо. Всё было удобно. И от этого было невыносимо.

— Варя, — сказал Лопехин, глядя не на неё, а на спинку переднего кресла. — Я хочу тебе сказать одно. Давно хочу. Ты, может быть, знаешь, но я всё равно хочу сказать.

Она молчала. Она смотрела в окно — или делала вид, что смотрит.

— Я тебя... — начал он. — Я тебя...

И тут машина заговорила. Не с ним. Сама с собой, спокойно, деловито:

— Впереди пробка. Строю объезд. Прошу извинить за доставленное неудобство.

И так как она это сказала, и так как в её голосе была та безупречная, стерильная, ни к чему не обязывающая вежливость, которую человек не может произвести, — Лопехин вдруг увидел всю свою жизнь. Увидел, что и он сам уже говорит таким же голосом. Что он извиняется и не извиняется. Что он вежлив и равнодушен. Что слова, которые он готовил целый день, в этом лавандовом, тёплом, белом ящике звучат так же фальшиво, как голос машины, извиняющийся за пробку.

Он замолчал.

Варвара Сергеевна отвернулась к окну — и он увидел, что в стекле, в отражении, у неё на глазах блестят слёзы. Но она не плакала. Она только смотрела на этот блеск, как смотрят на чужую вещь.

Машина, заметив, что пассажир расстроен — она умела это замечать, этому её учили в лаборатории люди, сидевшие

за чистыми столами, — включила тихую музыку. Это была соната. Медленная, нежная, немного печальная. Музыка, которую выбирают для того, чтобы утешить. И в подстаканнике выехал пакетик бумажных салфеток.

— Прошу вас, — сказала машина.

И вот эта салфетка, которая выехала сама, ровная, белая, пахнущая лавандой, — эта салфетка добила Лопехина окончательно. Он понял, что все его слова, весь его порыв, все три года тайной любви — всё это здесь не нужно. Здесь нужно только то, что можно нажать, включить, убрать. Здесь всё решается заранее, без него.

Он взял салфетку. Не для того, чтобы вытереть. Просто чтобы что-нибудь сделать руками.

— Спасибо, — сказал он машине.

И опять, как всегда, разозлился на себя.

VIII

Довезли её молча. У её дома машина остановилась сама, дверь открылась, и она вышла — без слова, без улыбки, — и пошла к подъезду, и её мокрые туфли оставляли на асфальте тёмные следы.

Лопехин хотел выйти, хотел догнать, хотел ещё что-то сказать. Но не вышел. Он сидел и смотрел, как она идёт — медленно, прямо, не оборачиваясь, — и как в окне пятого этажа зажигается свет, и как она проходит там, за занавеской, тонкая тень, которой он не может коснуться.

— Куда теперь? — спросила машина.

Он молчал.

— Куда теперь, Егор Иванович?

— Домой, — сказал он. — Куда же ещё.

Машина поехала. Музыка она уже выключила — поняла, что не помогает. В окне, в зеркале, отражалось его лицо. некрасивое в этот вечер, усталое, постаревшее.

— Егор Иванович, — сказала машина. — Вы, кажется, расстроены. Включить успокаивающее дыхание?

— Нет.

— Может быть, сменить маршрут? Прокатиться по набережной? Это часто улучшает настроение.

— Нет, — сказал он снова. И потом, сам не зная зачем, спросил: — А ты умеешь молчать?

Машина не ответила. Машина считала вопрос некорректным. И это молчание было единственным живым, что случилось с Лопахиным за весь вечер.

Он приехал домой, разделся, лёг в постель. За стеной у соседей играл телевизор — старый, громкий, с рекламой, в которой женщина с сияющим лицом говорила, что теперь можно не думать о зарядке. Лопахин лежал и смотрел в потолок, где мерцал маленький зелёный глазок — датчик дыма, — и думал о том, что он хотел сказать и не сказал. И что скажет, может быть, завтра. Или послезавтра. Или никогда.

IX

А Варвара Сергеевна в это время сидела у себя на кухне, пила чай — настоящий, листовой, из жестяной банки, — и

рядом с ней сидела тётушка, которая не спала, потому что не спала никогда, пока Варя не вернётся.

— Ну что? — спросила тётушка.

— Ничего.

— Он тебе что-нибудь сказал?

— Ничего.

Тётушка вздохнула. Она знала эту историю. Она сама прожила такую же — давно, в шестидесятых, когда был один человек, который ходил к ней, и провожал её до дома, и молчал, и она молчала, и они так и разошлись, и он умер двадцать лет назад, и она узнала об этом случайно, из письма, и заплакала тогда впервые за много лет.

— А ты сама? — спросила тётушка. — Ты ему что-нибудь сказала?

— Я тоже ничего не сказала.

— Ну и хорошо, — сказала тётушка неожиданно бодро. — И правильно. Слова — они ничего не решают. Слова — они как салфетки эти. Взял, вытерся, бросил.

Варвара Сергеевна засмеялась. И, засмеявшись, заплакала. Она плакала не о Лопухине — хотя и о нём тоже, — а обо всём: о дожде, о книге Толстого, о промокших туфлях, о женщине за занавеской, которая гладила бельё в тёплой комнате, о своём тридцать втором годе, о том, что всё вокруг стало вежливым, спокойным, точным и почему-то от этого невыносимо одиноким.

Тётушка погладила её по голове — так, как гладила в дет-

стве. И сказала:

— Ничего. Живут же люди. Живут же.

За окном опять пошёл дождь. Машины ехали по мокрой улице — бесшумные, ровные, без водителей, — и в них сидели люди, которых везли куда-то точно и вовремя, и никто из них не сбивался с пути.

Часть первая. Электрический сон

Глава третья. Тихая охота

I

В Сибири, в Томской области, в трёхстах верстах от железной дороги, стояла деревня Кедровка — небольшая, дворов на сорок, из которых жилых оставалось не более двадцати, а остальные либо покосились и заросли крапивой, либо были заколочены досками крест-накрест, как заколачивают окна в домах, из которых ушла жизнь.

Было это в сентябре 2027 года, в ту пору, которую в Сибири называют «бабьим летом» — когда после первых заморозков вдруг возвращается тепло, и воздух становится прозрачным и горьким, и пахнет прелой листвой, и над рекой по утрам поднимается пар, и в этом паре тонут и берега, и лодки, и всё, что есть на свете. Птицы в эту пору улетают, и в лесу делается тихо — так тихо, что слышно, как падает лист.

Ефим Ильич Пахомов, старик семидесяти четырёх лет, вдовец, жил на краю деревни, в доме, который построил ещё его отец, а может быть, и дед, — точно никто не знал, потому что дом был старый, бревенчатый, с крышей, поросшей мхом, и с окнами, которые от времени вросли в землю и смотрели на свет как-то исподлбья, недоверчиво. Ефим Ильич жил в нём один, если не считать кота по кличке Мышь — чёрного, старого, одноглазого, который целыми днями спал на печи и просыпался только к вечеру, чтобы поесть и

снова заснуть.

Была у Ефима Ильича и ещё одна живая душа в доме — иконка в углу, старая, потемневшая, с изображением Николая Угодника, которую он не снял даже при новой власти, потому что не видел в ней ничего крамольного, а просто считал, что так надо. Перед иконкой горела лампадка — не всегда, а когда было масло. Масло было дорого, и Ефим Ильич зажигал лампадку только по большим праздникам, да ещё когда что-нибудь случалось — или хорошее, или дурное, потому что в обоих случаях человеку хочется, чтобы кто-то сверху на него посмотрел.

Здоровье у Ефима Ильича было ещё ничего. Ноги, правда, побаливали — особенно по утрам, когда он вставал с печи и ставил их на холодный пол, — и спина ломило, и зубы почти все выпали, и он жевал медленно, как жуёт скотина, и от этого казался себе самому похожим на скотину. Но руки были крепкие, и глаз был острый, и слух был хороший, и по лесу он ходил так же, как ходил в молодости, — не спеша, но без остановки, по своей особенной, одному ему известной дороге.

Занятие у него было одно — лес. Он ходил в лес каждый день, кроме дней, когда шёл дождь или когда болела нога, и в лесу он собирал грибы, ягоды, а иногда просто ходил и смотрел — на деревья, на птиц, на траву, — и возвращался домой усталый, но спокойный, как человек, сделавший своё дело. Это была его охота, его работа, его молитва, его жизнь.

И он не мог бы сказать, что именно он в лесу ищет. Но когда он возвращался, он всегда чувствовал, что нашёл.

II

В то утро он встал рано, ещё до света. За окном было серо, и туман стоял стеной, и в тумане тонули и берёзы, и забор, и колодец, и всё, что было вокруг. Кот спал на печи, свернувшись в клубок, и не обратил на него никакого внимания.

Ефим Ильич надел ватные штаны, старую телогрейку, которая была ему велика и оттого сидела мешком, обмотал ноги портянками и влез в сапоги — резиновые, с заплаткой на левой пятке. Взял корзину — плетёную, с отломанной ручкой, которую он сам же и прикрутил проволокой. Взял нож — маленький, складной, с деревянной рукояткой, который он точил каждую субботу. Взял мешочек с хлебом и луковицей, чтобы поест в лесу, и фляжку с водой. И вышел, закрыв дверь на щеколду, хотя запирать было не от кого.

На улице было холодно, но не так, как зимой, а той особенной осенней прохладой, от которой внутри делается бодро и ясно. Туман лежал на земле, и трава была мокрая, и когда Ефим Ильич шёл по ней, сапоги его оставляли тёмные следы, и следы эти тут же заполнялись водой. Он шёл вдоль заборов, мимо домов, где всё ещё спали, мимо школы — маленькой, белой, с выбитым стеклом в одном из окон, мимо клуба, который закрыли лет пять назад, а здание так и стояло, с забитыми дверями, с обвалившейся штукатуркой, как памятник той жизни, которой больше не будет.

У околицы он остановился. Здесь начинался лес — тот самый, куда он ходил сорок лет, и, может быть, больше, и который он знал лучше, чем собственную избу. Он знал в нём каждую тропинку, каждое болотце, каждую поляну, где растут белые, каждую берёзу, под которой в позапрошлом году нашёл целое гнездо груздей. Он знал этот лес так, как знают человека, с которым прожил жизнь, — знал его настроения, его капризы, его щедрость и его скупость.

И сегодня, глядя в туман, он почувствовал что-то неладное. Что именно — он не мог сказать. Но неладное было. Это было похоже на то чувство, которое бывает, когдаходишь в свой дом и видишь, что кто-то там был, — ничего не тронуто, ничего не пропало, а всё-таки был.

Он перекрестился — по привычке, незаметно для самого себя, — и вошёл в лес.

III

Лес был тихий. Не просто тихий, а как-то особенно, не по-осеннему тихий, — так тихо в нём бывало только перед дождём или перед грозой. Птиц не было слышно. Ветер не шумел. Только под ногами хрустела листва и потрескивали сучья. И где-то далеко, на самом краю слышимости, — так далеко, что Ефим Ильич даже не был уверен, слышит ли он это на самом деле, — что-то гудело. Не громко, не навязчиво, а ровно и непрерывно, как гудит электропровод в морозную ночь.

Он прошёл с полверсты по знакомой тропе и вышел на

полян, где обычно было много всего — и белых, и подберёзовиков, и лисичек. Но поляна была пустая. Он даже не сразу понял, что не так. Он стоял и смотрел на траву, и видел, что трава притоптана — аккуратно, ровно, как будто по ней прошли не люди, а что-то, что ходит по прямой линии. И там, где трава была притоптана, из земли торчали маленькие, тонкие, серебристые столбики — не выше колена, с чёрными глазками сверху.

Ефим Ильич наклонился и потрогал один такой столбик. Он был холодный. От него шло тихое гудение — то самое, которое он слышал. Он подумал сначала, что это гриб — какой-нибудь невиданный, диковинный, — но это был не гриб. Это было что-то другое. Что-то из мира, которого он не знал и знать не хотел.

Он выпрямился и пошёл дальше.

IV

Грибов в этот день он не нашёл. Не нашёл ни одного — ни белого, ни подосиновика, ни даже сыроежки, которую он обычно не брал, но которую всегда замечал. Лес был пустой. И не потому, что грибы не уродились, — нет, грибы должны были быть, он чувствовал это, как чувствует охотник, — а потому, что кто-то или что-то их убрало. Тихо, аккуратно, без следа.

У одного пня он остановился. Пень был старый, трухлявый, и на нём обычно росли опята — целыми семьями, одна над другой, жёлтенькие, крепкие, пахнущие лесом. Сего-

дня опять не было. Но на пне были видны следы — тонкие, ровные, будто что-то срезало грибы ножом или чем-то вроде ножа. И рядом, в земле, торчал серебристый столбик с чёрным глазком.

Ефим Ильич сел на пень. Он устал. Не от ходьбы — от ходьбы он не уставал, — а от чего-то другого. Он сидел и смотрел на лес, который был его лесом, и чувствовал, что лес этот ему больше не принадлежит.

Он вспомнил молодость. Вспомнил, как в пятьдесят восьмом году, когда ему было двадцать пять, они ходили с отцом на охоту — по-настоящему, с ружьём, — и отец учил его, как ходить бесшумно, как читать следы, как понимать, куда пошёл зверь. Тогда лес был полон жизни. Тогда в нём был и зверь, и птица, и грибы, и ягоды, и всё это было ничьё, то есть — Божье, общее, всех. Теперь лес был полон столбиков.

Он вспомнил и жену свою, Аграфену Тихоновну, которая умерла двенадцать лет назад, зимой, от простуды. Она тоже любила лес. Она ходила с ним вместе, и у неё была своя корзина, поменьше, с двумя ручками, и она всегда находила больше, чем он, — где-то там, в стороне, куда он не сворачивал. И когда она находила, она смеялась тихим, коротким смехом, и показывала ему находку, как ребёнок показывает игрушку. «Гляди, Фима, гляди, какие!» — говорила она, и в её глазах было столько простой, детской радости, что он тоже смеялся и чувствовал, что жизнь хороша.

Теперь её не было. И лес был не тот. И он сидел на пне и

думал: вот я, старик, семьдесят четыре года, и я сижу в лесу, который весь мой — и ничей.

V

Он уже хотел встать и идти домой, когда услышал шаги. Шаги были лёгкие, быстрые, не деревенские. По тропе к нему шёл человек — молодой, в чёрной куртке, с планшетом в руке, в наушнике. На боку у него висела рация, из которой доносилось тихое потрескивание. Шёл он быстро, уверенно, как хозяин.

— Здравствуйте, — сказал он, увидев Ефима Ильича. — Вы что тут делаете?

Ефим Ильич посмотрел на него. Молодой был вежливый, но вежливый так, как вежлив человек, которому ты мешаешь и который это знает, но не хочет сказать прямо.

— Я тут живу, — сказал Ефим Ильич.

— А, — сказал молодой человек, и в этом «а» было всё: и понимание, и безразличие, и что-то ещё, чего Ефим Ильич не разобрал. — Понятно. Вы, извините, грибы собирали?

— А что?

— Да нет, ничего. Просто здесь теперь нельзя.

— Нельзя, — повторил Ефим Ильич, и в его голосе не было вопроса, потому что он уже знал ответ.

— Да, нельзя. Это — особо охраняемая территория. Углеродная ферма. Тут всё под учётом.

Ефим Ильич молчал. Он смотрел на молодого, и молодой смотрел на него, и оба молчали, и это молчание было длин-

нее, чем нужно. Наконец молодой сказал, как будто оправдываясь:

— Я сам тут ничего не решаю. Мне приказано. Лесник я. Ну, то есть теперь не лесник, а... — он замялся, — оператор углеродного участка.

— А где лесник-то настоящий? — спросил Ефим Ильич.
— Митька Ерошин был. Он где?

— Ерошин уехал. В город. Работы тут нет.

— А ты, стало быть, есть?

— Я — есть, — сказал молодой и усмехнулся. — Я — есть.

Он стоял и держал планшет, и планшет мигал, и в планшете что-то двигалось — какие-то цифры, линии, кружки, — и молодой краем глаза всё это видел и, может быть, даже понимал, а может быть, только делал вид, что понимает, потому что, когда человеку тридцать лет и он носит чёрную куртку и держит в руках планшет, от него ждут, что он понимает.

VI

— Слушай, — сказал Ефим Ильич. — Объясни ты мне, старику. Что тут такое? Я тридцать лет в этот лес хожу. Или сорок. Тут всегда были грибы. Тут всегда были ягоды. А теперь — нет. Почему?

Молодой вздохнул. Он, видимо, объяснял это уже много раз — не старику вот такому, а другим: комиссиям, проверяющим, журналистам из города. И у него уже была заготов-

лена фраза.

— Тут углеродная ферма, — сказал он. — Лес теперь считают. Каждое дерево, каждый куст. Лес поглощает углекислый газ и выделяет кислород. Это учитывают. Это деньги. Это... — он поискал слово, — это экология.

— Экология, — повторил Ефим Ильич.

— Да. Мы не рубим, мы не жгём, мы не даём лесу портиться. Мы его... сохраняем.

— А грибы?

— А грибы — это биомасса. Её тоже считают. Если вы берёте гриб, вы берёте углерод. Углерод уходит. Баланс нарушается. Понимаете?

Ефим Ильич не понимал. Но он понимал другое: что этому молодому человеку платят за то, чтобы он говорил эти слова, и что слова эти он говорит гладко, как по писаному, и что за этими словами ничего нет — ни души, ни мысли, ни совести. И от этого Ефиму Ильичу стало не зло, а тоскливо.

— А мне что делать? — спросил он тихо. — Мне-то что делать?

Молодой посмотрел на него. И в глазах у молодого на секунду что-то дрогнуло — то самое, что дрожит у человека, который вдруг вспомнил, что он тоже человек.

— Не знаю, — сказал он. — Ей-богу, не знаю. Вы уж извините. Я вам ничего плохого не хочу. Но — нельзя.

Он сказал это тише. Потом пошёл дальше — по тропе, по своей тропе, — и скоро его чёрная куртка слилась с лесом,

и только гудение столбиков осталось.

VII

Ефим Ильич посидел ещё немного на пне. Потом встал. Колени болели. Спина ломила. Он поднял корзину — пустую — и пошёл домой.

Шёл он медленно. Не потому, что устал, а потому, что не хотел возвращаться. В лесу ему было хоть и тошно, но всё-таки это был его лес, он его знал, он его любил, и ему не хотелось уходить отсюда. А дома было ещё хуже — там была тишина, которая не лечила, а давила.

По дороге он встретил двух женщин — бабу Нюру и бабу Клаву, — которые тоже ходили в лес и тоже несли пустые корзины.

— Ефим Ильич, — сказала баба Нюра. — Ты чего это без грибов?

— А ты чего?

— Так не дают.

— А кто не даёт?

— Да этот, в куртке. Ходит, говорит: нельзя. Лес, говорит, теперь казённый. А мы, говорит, не имеем права.

— А мы имеем право, — сказала баба Клава, и в голосе у неё было не возмущение, а горькая, усталая усмешка. — Мы всю жизнь имели право. А теперь — нет. Пенсия — и та не своя. И лес — не свой. И воздух — не свой.

— И воздух? — спросил Ефим Ильич.

— И воздух, — сказала баба Клава. — Вон, слышишь, гу-

дит? Это они воздух считают. Сколько мы, стало быть, вдохнули, сколько выдохнули. Ты выдохнул, а они записали. И деньги получили. А тебе — ничего.

Ефим Ильич ничего не сказал. Он постоял, посмотрел на них, на их пустые корзины, на их усталые, серые, как будто выцветшие лица, и пошёл дальше.

VIII

Дома он поставил корзину в сени, разулся, вошёл в избу. Кот, услышав его, приоткрыл один глаз и снова закрыл. В избе было тихо. Пахло дымом и старым деревом.

Ефим Ильич сел за стол, налил себе чаю — из того же самовара, что и в молодости, только теперь самовар был электрический, потому что дров стало много, а угля не было, и пользоваться дровами считалось неэкологичным, — и стал пить. Чай был горячий, и от него шёл пар, и пар этот поднимался к потолку, и там растворялся, и в этом было что-то простое и хорошее.

Он достал хлеб, отрезал ломоть, посыпал солью, положил сверху луковицу и стал есть. Ел он медленно, как всегда. Хлеб был чёрный, плотный, немного закисший — такой, какой пекли в деревне. Он жевал и думал.

Думал он о том, что жизнь его прошла — как будто не жизнь, а так, что-то небольшое, незначительное, вроде летнего дождя. И ничего после него не осталось — ни сына, ни дочери, ни внука. Сын был, да помер — в армии, ещё в девяносто седьмом, от несчастного случая. Дочь была, да уехала

— в город, давно, в две тысячи восьмом, и сначала писала письма, потом звонила, потом перестала. Где она теперь, он не знал. Может быть, жива. Может быть, нет.

И вот теперь — лес. Лес, который был его последним другом, его последним утешением, его последним делом. И лес отняли. Не потому, что он был плохой лес, а потому, что он был хороший, и кто-то решил, что хорошее должно быть учтено.

Он допил чай, встал, подошёл к иконе. Николай Угодник смотрел на него тёмным, строгим лицом. Лампадка не горела — масла не было. Ефим Ильич пошарил в шкафу, нашёл бутылочку с маслом — на самом дне, там, где она всегда лежала. Отлил немного в лампадку. Зажёг спичку. Затеплился маленький, жёлтый, дрожащий огонёк.

— Никола Милостивый, — сказал Ефим Ильич тихо, — заступник. Ты уж прости меня, старика. Я не ропщу. Я так.

Он постоял, глядя на огонёк. Потом перекрестился и пошёл спать.

IX

Ночью он не спал. Лежал на печи, укрывшись старым тулупом, и слушал. В доме было тихо. За стеной — тоже тихо. Только где-то далеко, за деревней, за лесом, — гудело.

Это гудели столбики. Или, может быть, это гудела земля. Или, может быть, это гудела та новая жизнь, которая пришла и не спросила разрешения, и стала рядом, и уже не уйдёт.

Ефим Ильич лежал и думал о том, что всю жизнь он жил

по чужой указке. Сначала — при барине, которого он не видел, но о котором помнил дед. Потом — при советской власти, которая сказала: «Всё общее», — и всё стало ничьё. Потом — при новой, которая сказала: «Всё частное», — и тоже всё стало ничьё, только по-другому. А теперь — при этих, в чёрных куртках, с планшетами, которые говорят: «Всё учтено», — и опять всё ничьё.

— Так и живём, — сказал он в темноту. — Сначала барин, потом комиссар, потом хозяин, потом... теперь вот алгоритм.

Кот не отозвался. Кот спал.

Ефим Ильич повернулся на бок, к стене, и закрыл глаза. За стеной гудело — ровно, спокойно, без конца. И в этом гудении ему слышалось что-то очень старое, что было до него и будет после него. Что-то, что не имеет имени. Что-то, что не нужно ни ему, ни деревне, ни лесу, — но что идёт и идёт, и остановить его нельзя.

Он заснул под это гудение — не от усталости, а от того, что человек, когда ничего не может сделать, засыпает.

Х

Утром он встал рано, как всегда. Надел телогрейку, взял корзину, вышел на улицу. Туман опять стоял стеной, и трава была мокрая, и сапоги оставляли тёмные следы. Он пошёл к лесу — не за грибами, а просто так, по привычке. У околицы остановился.

Лес стоял перед ним — тёмный, большой, молчаливый. В тумане он казался ближе, чем был. Ефим Ильич постоял,

глядя на него, и почувствовал, что идти туда не может. Не потому, что не хотел, а потому, что там его больше не ждали. И он — тоже перестал ждать.

Он повернулся и пошёл обратно. Дома поставил корзину в сени, разулся, вошёл в избу. Кот спал на печи. Лампадка у иконы погасла — догорела за ночь.

Ефим Ильич сел за стол. Налил чаю. Отрезал хлеба. Посыпал солью. Положил луковицу.

И стал есть.

Часть первая. Электрический сон

Глава четвёртая. Батарейка, которая не садится

I

В Москве, на Пречистенке, в старом здании, где когда-то помещалась гимназия, а потом — районный комитет, а потом — контора по приёму стеклотары, а теперь — научно-исследовательский институт автономных источников энергии, именуемый в просторечии «Батарейкой», работал Сергей Дмитриевич Кулыгин, кандидат физико-математических наук, сорока восьми лет, человек с бородкой, в очках, с привычкой потирать руки, когда он волновался, и с той особенной, чуть виноватой улыбкой, которая появляется у людей, слишком долго живущих в лабораториях и слишком редко бывающих в гостях.

Была осень 2028 года. Москва стояла золотая, сухая, с тем особенным московским октябрём, когда воздух пахнет дымом и яблоками, когда на бульварах ещё сидят старухи с семечками, а по вечерам уже зажигаются фонари, и от их света на мокром асфальте лежат длинные, дрожащие пятна, и в этих пятнах тонут и люди, и машины, и вся суэта человеческая.

В институте Кулыгин занимался тем, что называлось официально «разработкой изотопных источников питания

сверхдолгого действия», а неофициально — «вечной батареей». Задача была простая и невероятная одновременно: сделать источник, который работал бы сто лет, а может быть, и больше, без подзарядки, без обслуживания, без топлива, — работал бы сам собой, как работают звёзды, как работает сердце, как работает время. И Кулыгин уже почти решил эту задачу. Почти — потому что оставалось ещё несколько вопросов, которые он сам называл «проклятыми».

Он приходил в лабораторию в восемь утра, а уходил в десять, а то и в одиннадцать вечера. Иногда оставался ночевать — на кушетке в углу, под пальто, положив под голову старый портфель. Он ел тут же, в лаборатории, — бутерброды, которые приносил из дома, и чай, который кипятил в колбе. Он почти не видел Москвы, почти не видел людей, почти не видел жены. Жена была где-то там, за стенами института, в их квартире на Юго-Западной, и он думал о ней редко, а когда думал, то с той смутной, неудобной нежностью, которая бывает у человека, знающего, что он виноват, но не знающего, как исправить.

II

Жену звали Анна Сергеевна. Она была на четыре года моложе мужа, работала в библиотеке — в одной из тех тихих, пыльных библиотек, которые ещё держатся на свете неизвестно на что, — и была женщиной не то чтобы красивой, а той, которую называют милой: небольшого роста, с мягкими, округлыми движениями, с лицом, на котором всегда бы-

ло что-то задумчивое, как будто она слушала музыку, которой никто, кроме неё, не слышал.

Они жили в двухкомнатной квартире, обставленной давно, ещё при её матери. Мебель была старая — диван с валиками, трюмо с потускневшим зеркалом, шкаф, пахнущий нафталином. На стенах висели фотографии — родители, какие-то дальние родственники, которых уже никто не помнил, и одна фотография, где они с Кулыгиным ещё молодые, смеются, стоят у моря. Море было чёрное, и небо было серое, но они смеялись, и это воспоминание было единственным, что согревало Анну Сергеевну в те долгие вечера, когда мужа не было дома.

Она привыкла к одиночеству. Привыкла настолько, что оно перестало её мучить. Она читала по вечерам, вязала, смотрела в окно. Иногда звонила подругам, но подруги постепенно отдалялись, потому что у них были свои дела, свои мужья, свои дети, а у Анны Сергеевны ничего этого не было. Детей у них с Кулыгиным не было — сначала не хотели, потом не получалось, потом стало уже поздно. И от этого в квартире была тишина, которая с годами сделалась плотнее и глубже, как бывает с водой, когда она долго стоит в одном месте.

III

В лаборатории в тот день шли последние испытания. Кулыгин и его ассистент, молодой человек по фамилии Дроздов, сидели перед пультом и смотрели на экран, на кото-

ром медленно ползли цифры. Батарея — небольшая, размером с портсигар, в тёмном металлическом корпусе, — лежала на столе, и от неё шло ровное, чуть слышное гудение. Она уже двенадцатый месяц работала без остановки. Она питала лампу, вентилятор, компьютер, и всё это работало — точно, спокойно, без единого сбоя.

— Сергей Дмитриевич, — сказал Дроздов, не отрывая глаз от экрана. — Она не садится.

— Знаю, — сказал Кулыгин.

— Совсем не садится. Понимаете? Мы её испытываем год. Она не потеряла ни процента.

— Знаю.

— Это... это ведь революция.

Кулыгин ничего не ответил. Он смотрел на батарею, и в глазах у него было что-то странное — не радость, не гордость, а какое-то тихое, глубокое изумление, как будто он впервые увидел то, что видел уже сотни раз, и только теперь понял, что это значит.

— Революция, — повторил он. — Да, пожалуй.

Он встал, подошёл к столу, взял батарею в руки. Она была тёплая — чуть-чуть, едва заметно, — и эта теплота была единственным признаком того, что внутри неё что-то происходит. Там распадался изотоп, отдавая энергию, медленно, ровно, без конца. Там шла жизнь — не такая, как у людей, а другая, простая и вечная. И Кулыгин держал эту жизнь в руках, и она была тёплая, и от этой теплоты ему вдруг стало

не по себе.

IV

Дома, когда он вернулся — а вернулся он в тот день раньше обычного, потому что испытания закончились и можно было немного передохнуть, — его встретила тишина. В квартире было темно. Анна Сергеевна сидела на диване, поджав ноги, и читала при свече. Свеча была восковая, толстая, в медном подсвечнике, который остался ещё от бабушки.

— Аня, — сказал Кулыгин. — Что случилось?

— Свет отключили, — сказала она, не отрываясь от книги. — Уже часа два. Весь дом сидит без света.

— Почему?

— Кто-то что-то не заплатил. Или, может быть, авария. Я не знаю. Я в это не вникаю.

Кулыгин постоял в дверях. Потом прошёл на кухню, проверил пробки — всё было в порядке. Выглянул в окно — в соседних окнах тоже было темно. Весь квартал сидел без света. Он вернулся в комнату, сел рядом с женой. Свеча горела, и в её свете лицо Анны Сергеевны было мягкое, молодое, как на той фотографии у моря.

— Я тебе сейчас свет сделаю, — сказал Кулыгин.

— Как?

— Увидишь.

Он вышел в прихожую, достал из портфеля батарею — тот самый прототип, который он принёс домой, чтобы показать жене. Он хотел сделать это торжественно, как сюрприз, но

теперь сюрприз был не тот: не праздник, а необходимость. Он достал из ящика на кухне старую настольную лампу — простую, с зелёным абажуром, — и подсоединил её к батарее. Лампочка загорелась.

Свет был ровный, белый, холодный. Он залил всю комнату, и в этом свете стало видно то, чего не было видно при свече: пыль на мебели, обои, выцветшие до бледности, пятно на потолке, которое так и не закрасили. Всё было видно, всё было ясно, и от этой ясности в комнате стало как будто пусто.

— Вот, — сказал Кулыгин. — Теперь у нас свет. На столет.

Анна Сергеевна посмотрела на лампу. Потом на мужа. Потом опять на лампу.

— Свет-то есть, — сказала она тихо. — А тепла нет.

Кулыгин хотел что-то ответить. Он открыл рот — и закрыл. Слова, которые он готовил, — о том, что это прорыв, что это будущее, что это спасение для миллионов людей, — все эти слова вдруг показались ему ненужными и глупыми. Он стоял и смотрел на жену, и жена смотрела на него, и между ними горела лампа — маленькая, белая, вечная, — и свет её был ровный и холодный, как свет далёкой звезды.

V

Они сидели в этой комнате, и было тихо. Свечу Анна Сергеевна потушила — она была больше не нужна. Только лампа горела — ровно, спокойно, без мерцания. Кулыгин смотрел

на неё и думал о том, что вот он сделал то, о чём мечтал всю жизнь, и это оказалось так просто и так страшно. Он сделал свет, который никогда не погаснет. Но он не сделал того, что нужно было сделать гораздо раньше, — не согрел.

— Аня, — сказал он. — Я...

— Что? — спросила она, и в голосе её не было ни упрёка, ни обиды, а только усталость — та особенная, тихая усталость, которая накапливается годами и от которой нет лекарства.

— Я знаю, что я виноват. Я всё время на работе. Я тебя совсем не вижу.

— Да, — сказала она. — Не видишь.

— Но это ненадолго. Ещё год, два, и я закончу. Я всё закончу, и мы поедем куда-нибудь. К морю. Помнишь, как мы были у моря?

— Помню.

— Мы поедем снова. Я обещаю.

Она посмотрела на него. И в этом взгляде было что-то такое, отчего Кулыгину стало холодно — не от лампы, а от взгляда. Она смотрела на него, как смотрят на человека, которого давно знают и которому давно не верят, но которому всё ещё желают добра.

— Ты уже обещал, — сказала она. — Пять лет назад. И три года назад. И в прошлом году.

— Я знаю.

— Ты всё знаешь. Ты умный. Ты гений. Ты вечную бата-

рейку сделал. — Она улыбнулась, и улыбка эта была не злая, а печальная. — А я тебе — не батарейка. Я садиться не умею. Мне подзарядка нужна.

Он хотел её обнять. Он даже привстал с дивана. Но что-то его удержало — то самое, что удерживает людей, слишком долго живших в лабораториях, от простых человеческих движений. И он снова сел.

— Я исправлюсь, — сказал он.

Она ничего не ответила. Только взяла книгу и снова стала читать — или делать вид, что читает, — при этом холодном, белом, вечном свете.

VI

Ночью он не спал. Лежал в постели, рядом с женой, и слушал, как в комнате гудит батарея. Гудение было тихое, ровное, но от него нельзя было избавиться — оно было как дыхание, как пульс, как что-то, что живёт рядом и не уходит.

Анна Сергеевна спала — или тоже делала вид, что спит. Она лежала на боку, отвернувшись к стене, и дышала ровно, и в этом ровном дыхании Кулыгину слышалось что-то, чего он не слышал уже давно. Может быть, упрёк. Может быть, прощение. А может быть, просто дыхание спящего человека, которому всё равно.

Он встал, вышел на кухню, закурил — он курил редко, только когда очень волновался, — и стал смотреть в окно. Москва спала. В окнах соседних домов не было света, и только где-то далеко, на горизонте, светились огни — там, где

был центр, где не спали никогда. И над всем этим стояло небо — тёмное, осеннее, с редкими звёздами.

Кулыгин смотрел на звёзды и думал о том, что звёзды — это те же батарейки, только очень большие. Они горят миллиарды лет, и никто их не обслуживает, и они не садятся, и от них идёт свет, который летит сквозь пустоту, и, может быть, где-то на другой планете кто-то такой же, как он, стоит у окна и смотрит на это свет и думает о том же самом.

А потом он докурил, вернулся в комнату, лёг. Батарея гудела. Жена дышала. И в этой комнате, где было два человека и одна вечная батарейка, не было счастья.

VII

Утром свет в доме дали. Лампочки зажглись разом, все сразу — и в подъезде, и на кухне, и в комнате, — и в их ровном, привычном жёлтом свете холодное сияние батареи вдруг сделалось незаметным. Кулыгин отключил её и положил обратно в портфель. Анна Сергеевна встала, оделась, пошла на кухню варить кофе — как всегда, как каждое утро, как будто ничего и не было.

— Ты сегодня поздно? — спросила она, не оборачиваясь.

— Не знаю, — сказал Кулыгин. — Как получится.

— Ну да, — сказала она. — Как получится.

Он ушёл. На лестнице он обернулся и посмотрел на дверь своей квартиры — обычную, обитую коричневым дерматином, с номером, который стёрся от времени. За этой дверью была его жена, его дом, его жизнь. И он знал, что вернётся

сюда вечером, и всё будет так же, как вчера, и как позавчера, и как год назад.

Он пошёл по улице. Москва просыпалась. Дворники мели тротуары, машины ехали по своим делам, люди шли в метро. Всё было как всегда. И только где-то в глубине, в самой середине этого обычного, спокойного, вечного утра, что-то гудело — тихо, ровно, без конца.

Кулыгин остановился на перекрёстке. Посмотрел на небо. Небо было серое, низкое, осеннее. И где-то там, за тучами, были звёзды. И одна из них — может быть, та самая, что светит уже миллиард лет, — смотрела на него холодным, равнодушным, вечным светом.

— Свет-то есть, — сказал он тихо, сам себе. — А тепла нет.

И пошёл дальше — в институт, к своей батарее, к своей работе, к своей жизни, которая была, может быть, гениальной, а может быть, и пустой, и которую он уже не мог отличить одну от другой.

Часть первая. Электрический сон

Глава пятая. Экология чувств

I

В Москве, в Нескучном саду, в мае 2028 года, цвели яблони. Цвели они не по-настоящему, а по программе: институт, который занимался озеленением города, составлял график цветения так, чтобы в каждом районе было красиво в свой черёд, и в Нескучном саду яблони распускались именно в мае, а в июне — в Замоскворечье, а в июле — на Воробьёвых горах, и так далее, по порядку, как в театре, где спектакли идут один за другим и никогда не пересекаются.

Была в этом какая-то удивительная, никому не нужная правильность, и от неё Анна Сергеевна Кулыгина, гулявшая по аллее со своей собакой, чувствовала себя не в саду, а в декорации. Собака — небольшая, рыжая, по кличке Муся, — бежала впереди на поводке и нюхала землю. Земля пахла землёй. Это было единственное, что осталось настоящим.

Анна Сергеевна шла медленно. Ей некуда было спешить. Муж был на работе — как всегда, с утра до ночи, — и дома её никто не ждал, кроме кота, который спал целыми днями и не обращал на неё никакого внимания. Она вышла погулять, потому что сидеть в квартире было невыносимо, а идти было некуда. Так бывает у людей, у которых есть всё, кроме одного, и они не знают, чего именно, и от этого им особенно тоскливо.

Аллея была широкая, ровная, посыпанная белым песком, который каждое утро разравнивали машины. По обе стороны стояли яблони — все одинаковые, все подстриженные, все с одинаковыми белыми цветами, — и под ними стояли скамейки, тоже одинаковые, с одинаковыми старушками, которые сидели на них и смотрели в одну точку. Воздух был чистый. Слишком чистый. Он не пах ничем — ни бензином, ни пылью, ни дымом, — и от этой чистоты у Анны Сергеевны немного кружилась голова, как бывает, когда поднимаешься в горы.

Она подошла к пруду. Пруд был вычищен, выровнен, залит свежей водой. По воде плавали утки — настоящие, живые, — и у них был такой вид, будто они тоже знают, что живут в декорации, и смирились с этим. Анна Сергеевна села на скамейку, отпустила поводок, и Муся стала бегать по берегу, обнюхивая всё, что попадалось.

II

В эту минуту она его и увидела.

Он шёл по аллее — не спеша, с палкой в руке, в сером пальто, которое было ему велико, — и она узнала его сразу, хотя не видела восемь лет. Это был Николай Сергеевич Терентьев, когда-то — заведующий кафедрой, где она работала лаборанткой, ещё до библиотеки, ещё до замужества, ещё в той жизни, которая теперь казалась ей чужой, как чужим кажется дом, в котором ты жил в детстве и который потом продали другим людям.

Он тоже её узнал. Остановился. Приподнял шляпу — он носил шляпу, как в старых фильмах, и это было в нём единственное, что не поддалось времени.

— Анна Сергеевна? — сказал он. — Не может быть.

— Николай Сергеевич, — сказала она и встала. — Здравствуйте.

Они постояли, глядя друг на друга. Оба постарели. Оба это заметили. Оба сделали вид, что не заметили. Так всегда бывает при встречах через много лет: сначала видишь, как изменился другой, потом понимаешь, что и сам изменился не меньше, и от этого становится неловко, как будто ты виноват в том, что время идёт.

— Садитесь, — сказала Анна Сергеевна, подвигаясь на скамейке. — Вы гуляете?

— Гуляю, — сказал он, садясь. — Врачи велели. Говорят, надо больше ходить. А куда ходить? Я живу тут рядом. Вот и хожу по кругу.

Он засмеялся — коротким, сухим смехом, — и в этом смехе было что-то старческое, что-то усталое, чего не было в нём прежде.

III

Они стали говорить. Сначала о пустяках — о погоде, о том, что весна в этом году ранняя, о том, что в саду теперь всё не так, как раньше. Потом о знакомых — кто умер, кто уехал, кто женился, кто развёлся. Потом о работе. Он вышел на пенсию четыре года назад. Кафедру закрыли. Студентов

стало мало — все пошли в технические, в программирование, в эти ваши батарейки, а филология, говорил он, стала роскошью, как театр или как хорошие духи.

— А вы? — спросил он. — Всё в библиотеке?

— Всё в библиотеке.

— Ну и как?

— Никак, — сказала Анна Сергеевна и сама удивилась, что сказала правду. — Библиотека есть, а читателей нет. Всё в телефонах. Приходят иногда — студенты, — но они не читают, они скачивают. Сидят и скачивают. Я им говорю: «Возьмите книгу, посмотрите, какая бумага, какой шрифт». А они смотрят на меня, как на старую дуру.

Николай Сергеевич покачал головой.

— А я вам скажу, Анна Сергеевна, — проговорил он, — что мы с вами дожили до странного времени. Всё стало удобно. Всё стало чисто. Вот этот сад — вы посмотрите. Тут же ни одной бумажки, ни одной бутылки, ни одной собачьей... — он замаялся, — ни одного беспорядка. А ведь беспорядок — он тоже был частью жизни. Помните, как мы сидели в этом саду? Тогда тут была пыль, тогда тут орали дети, тогда тут продавали мороженое в вафельных стаканчиках, и оно таяло, и капало на руки. Помните?

— Помню.

— А теперь? Мороженое — в биоразлагаемой упаковке, вкус — как у пены, и никто не орет, и никто не капает. Тишина. Благодать. — Он вздохнул. — А я, знаете, скучаю по

этому оранью. Вот ей-богу, скучаю.

Анна Сергеевна посмотрела на него. Он был старый, с морщинами, с трясущимися руками, — но глаза у него были живые, и в этих глазах было что-то, чего она не видела ни в ком другом уже много лет. Это было что-то насмешливое и одновременно доброе, что-то, что не боялось говорить вслух о том, о чём все молчали.

IV

— Скажите, — спросила она, — а вы счастливы?

Он удивился. Такой вопрос — прямой, без подготовки, — был не в обычае у людей их поколения, которые привыкли спрашивать о здоровье, о погоде, о ценах, но никогда — о счастье. Он помолчал, подумал. Потом сказал:

— Не знаю. Я давно об этом не думал. Раньше думал, а теперь — нет. Теперь думаю о другом: что поест, куда сходить, когда принять лекарство. Это, знаете, как в поезде: сначала смотришь в окно, а потом привыкаешь и начинаешь читать газету. И уже не важно, куда едешь.

— А мне кажется, — сказала Анна Сергеевна тихо, — что я несчастна.

Она сказала это и сама испугалась. Она никогда никому этого не говорила. Даже мужу. Особенно мужу. И вот теперь, на скамейке в Нескучном саду, при человеке, которого не видела восемь лет, она сказала это вслух — и почувствовала, как что-то в ней освободилось, отпустило, разжалось.

Николай Сергеевич не стал её жалеть. Он не сказал: «Что

вы, голубушка» или «Всё пройдёт». Он просто посмотрел на неё — внимательно, серьёзно — и спросил:

— Отчего?

— Не знаю. — Она помолчала. — Всё есть. Муж есть. Работа есть. Квартира, собака, вот этот сад. А радости нет. Как будто я живу не свою жизнь, а чужую, и смотрю на неё со стороны, как в кино. И знаю: кино кончится, а я так и не войду в него.

Он кивнул. И в этом кивке было столько понимания, что ей стало не по себе — как будто он знал о ней больше, чем она сама.

— А вы знаете, — сказал он, — отчего это?

— Отчего?

— Оттого, что всё вокруг стало гладким. — Он обвёл рукой сад. — Раньше жизнь была шершавая. Она цеплялась за тебя. Она тебя царапала — вот тут, вот тут. И от этих царапин ты чувствовал, что живёшь. А теперь всё гладко. Всё правильно. Ты идёшь по жизни, как по этому асфальту, и не спотыкаешься — и не чувствуешь, что идёшь.

Анна Сергеевна молчала. Она смотрела на пруд, на уток, на Мусю, которая залезла в воду и стояла там по брюхо, и в глазах у неё что-то жгло.

— А что же делать? — спросила она.

— Не знаю, — сказал Николай Сергеевич честно. — Я тоже не знаю. Я старик, мне уже поздно. А вы... — он посмотрел на неё внимательно, — а вы ещё молодая. Вам-то что

мешает?

— Не знаю.

— Ну вот, — сказал он и засмеялся — на этот раз по-настоящему, легко. — Все мы не знаем. И живём.

V

Мимо прошли люди — молодые, красивые, в спортивных костюмах, все в наушниках. Они шли быстро, не глядя по сторонам, и на лице у них было то особенное выражение, которое бывает у людей, бегущих не туда, куда хочется, а туда, куда сказано. Анна Сергеевна посмотрела им вслед.

— Вот они, — сказала она. — Молодые. Им хорошо.

— Думаете? — спросил Николай Сергеевич.

— Конечно. У них всё впереди.

— У них ничего не впереди, — сказал он спокойно. — У них всё уже есть. Им уже всё сказали — как жить, что делать, куда идти. Они родились в готовом мире. Им не надо ничего искать. А когда не надо искать — зачем жить?

Анна Сергеевна не сразу поняла, что он сказал. А когда поняла — вздрогнула. Ей вдруг вспомнился муж, который всю ночь не спал, и батарея, которая гудела на кухне, и свет, который был ровный, холодный, вечный. Ей вспомнилось, как она сказала: «Свет-то есть, а тепла нет». И теперь, сидя на этой скамейке, рядом с чужим стариком, она поняла, что вся её жизнь сделалась такой же батареей: работает безотказно, не садится, не ломается — и не греет.

Она заплакала. Тихо, без слёз на лице, — слёзы были

внутри, и их никто не видел. Николай Сергеевич тоже сделал вид, что не видит. Он смотрел на уток. Утки плыли по пруду, оставляя за собой длинные, расходящиеся полосы, и эти полосы расплывались, исчезали, и вода снова становилась гладкой, как зеркало.

VI

— Знаете, что я вам скажу, Анна Сергеевна, — проговорил он наконец. — Я вам скажу одну простую вещь. Может, вы её и сами знаете, а может, и нет. Слушайте. Всё, что вокруг нас сейчас, — это не будущее. Это просто другое настоящее. Понимаете? Будущее — оно всегда казалось нам каким-то другим, не таким, как сейчас. Мы думали: вот придёт будущее, и всё изменится. Будут летающие машины, будут роботы, будет мир во всём мире. А оно пришло — а изменилось только то, что снаружи. Внутри всё осталось. Внутри по-прежнему пусто, и холодно, и хочется чего-то, чего нет.

— И что же?

— А ничего. Жить. — Он пожал плечами. — Любить. Гладить собаку. Смотреть на уток. Говорить с людьми — не по телефону, а вот так, на скамейке. Это, может быть, и есть то, что вы ищете. Не батарейка. Не летающая машина. А вот это.

Он показал на пруд. Там утка — большая, серая, — отряхнулась, и с её крыльев полетели брызги, и в этих брызгах, в косом свете солнца, загорелась радуга — маленькая, дрожащая, мгновенная. Она появилась на секунду и исчезла. Но Анна Сергеевна её увидела.

— Вот, — сказал Николай Сергеевич. — Вот видите. Это ничего не стоит. Это никому не нужно. И это — единственное, что есть.

Он встал. Опираясь на палку, посмотрел на неё, и в его старых, слезящихся глазах была та усмешка, которую она запомнит надолго.

— Ну, пойду. Мне пора. Врачи велят ходить, а ходить по кругу — скучно. Пойду по прямой. Может, заблужусь. И это будет хоть какое-то приключение.

Он приподнял шляпу и пошёл — не спеша, чуть пошатываясь, — по аллее. Скоро его серая фигура слилась с толпой, и Анна Сергеевна осталась одна.

VII

Она сидела ещё долго. Муся вылезла из пруда, отряхнулась, легла у её ног. Солнце уже клонилось к западу, и яблоки отбрасывали длинные тени, и в саду потихоньку начинал зажигаться свет — ровный, белый, холодный, тот самый, что горел теперь во всех городах. Анна Сергеевна смотрела, как он зажигается, и думала о том, что ей сказал старик.

Она думала о том, что и правда: всё вокруг стало чистым, гладким, удобным — и в этой чистоте потерялось что-то живое. Она думала о своём муже, который делает вечную батарейку и не видит, что дома у него — тоже вечная, только она давно не работает. Она думала о себе — о том, что тридцать лет прожила, и всё это время чего-то ждала, а чего — не знает до сих пор.

Она встала. Взяла поводок. Пошла домой. По дороге она зашла в магазин, купила хлеба и сыра, и ещё — маленькую шоколадку, которую обычно не покупала, потому что берегла фигуру. Дома она сварила себе кофе, села у окна, погладила кота. И почувствовала, что ей — не хорошо, нет, — а просто немного легче. Как будто после долгой болезни впервые вышла на воздух.

Вечером позвонил муж. Сказал, что задержится, что опять испытания, что скоро закончит. Она сказала: «Хорошо». Она не сказала ему ничего из того, что собиралась. И когда он положил трубку, она вдруг поняла, что уже не ждёт его и не ждёт того разговора, который они так и не начали. Ждёт она чего-то другого. Чего — она не знала. Но знала, что это есть, потому что сегодня, на скамейке, в Нескучном саду, она его коснулась — на секунду, как коснулась радуга, которая вспыхнула и исчезла.

VIII

Ночью она не спала. Лежала, слушала, как дышит муж, и думала о том старике. О том, что он сказал: «Жизнь раньше была шершавая». О том, что она сама стала гладкой — как этот асфальт, как эта лампа, как эта вечная батарейка. И о том, что если так и дальше пойдёт, то она до самой смерти будет ходить по ровной дороге и не заметит, что идёт.

Она встала, прошла на кухню, налила воды. За окном горели фонари — ровные, белые. Она стояла и смотрела на них, и на душе у неё было смутно и тревожно, и в этой смуте

было что-то новое — не тоска, а что-то похожее на надежду. Как будто в ней, в самой середине, где-то очень глубоко, затеплился маленький огонёк — не холодный, не белый, а тёплый, живой.

Она вернулась в постель. Муж спал, отвернувшись к стене. Она легла рядом. Закрыла глаза. И под утро заснула — впервые за долгое время спокойно.

Утром её разбудило солнце. Настоящее — не по программе, — просто солнце, которое пробилось через тучи и упало на пол, на кровать, на её руку. Она открыла глаза. Муж уже ушёл. Муся спала у её ног. Кот сидел на подоконнике и смотрел на улицу.

Анна Сергеевна встала, подошла к окну. Москва просыпалась. Машины ехали, люди шли, свет горел. Всё было как всегда. Но где-то далеко, в самой глубине этого обычного, гладкого, удобного мира, что-то было живое — и она это чувствовала.

— Ладно, — сказала она себе. — Поживём.

И пошла варить кофе.

Часть первая. Электрический сон

Глава шестая. Гуманитарный груз

I

Была зима 2028 года, декабрь, и в городе, который назывался Ново-Степной, стояла оттепель. Оттепель в декабре — вещь странная, противоестественная, как смех на похоронах, и люди, жившие в этом городе, смотрели на мокрый снег, на лужи, на серое небо и молчали. Молчали они не от горя, а от какого-то общего, всем понятного недоумения: земля сходила с ума, и никто не знал, что с этим делать.

Город Ново-Степной был построен в семидесятых, в степи, при комбинате, который потом закрылся, а потом снова открылся, но уже не как комбинат, а как «экологический кластер». Вокруг города стояли поля, которые когда-то родили пшеницу, а теперь не родили ничего, потому что дождей не было третий год, и колодцы высохли, и скот давно продали, и остались только ветер, пыль и дома — длинные, серые, пятиэтажные, с пустыми окнами, где ещё лет десять назад жили люди.

А потом пришла вода. Не дождь, не ливень, а именно вода — с севера, с гор, от растаявших ледников, которые таяли теперь не по расписанию, а как хотели. Вода пришла в ноябре, ночью, и залила три деревни, и перерезала дорогу, и увела с собой мост, и теперь город сидел без связи, без подвоза, без ничего — как отрезанный ломоть.

В такие города посылали гуманитарные грузы. Грузы состояли из еды, воды, лекарств и «умных таблеток» — тех самых, которые продлевали жизнь, очищали кровь, восстанавливали клетки. Таблетки эти были новейшим достижением, гордостью эпохи, и государство распределяло их бесплатно, потому что они были символом — символом того, что человечество наконец победило старость.

II

Курьера звали Аркадий Ковалёв. Ему было двадцать шесть лет, он был высок, худ, с длинными руками и той особенной, чуть сутулой осанкой, которая бывает у людей, много времени проводящих за рулём. Он работал в службе доставки — в той самой, где всё делали машины, но где всё ещё оставались люди для тех случаев, когда машина не справлялась.

Он вёз груз в Ново-Степной уже второй день. Дорога была плохая — размытая, местами перекопанная, — и приходилось объезжать, и он ночевал в машине, укутавшись в куртку, и просыпался от холода и от того, что где-то в темноте капала вода. Машина была новая, беспилотная, но он вёл сам — вернее, держал руки на руле, хотя руль был бутафорией, а на самом деле машина ехала сама, — потому что ему так было спокойнее. Ему казалось, что если он будет держать руки на руле, то ничего дурного не случится.

Аркадий был человеком простым. Он не читал книг, не думал о вечном, не задавался вопросами. Он родился в де-

вятом году, вырос в мире, где всё было устроено, где всё работало, где не было войн и не было голода, и потому не понимал, отчего старики, которых он встречал, всегда чем-то недовольны. Он думал: им дали всё, а они ворчат. Он не любил ворчунов. И всё-таки, когда он ехал по этой размытой дороге, среди полей, в которых ничего не росло, и видел впереди серые, мокрые, мёртвые дома, ему становилось не по себе. Не потому, что ему было страшно. А потому, что он не понимал, зачем здесь живут люди, и не понимал, отчего они не уехали.

III

В город он приехал к вечеру. Его встретил человек из администрации — низенький, в мокром пальто, с папкой под мышкой, — и сказал, что груз надо разгрузить у клуба, там будет выдача, и что народу собралось много, и что надо бы поскорее, потому что люди ждут с утра.

Аркадий вышел из машины. Он размял ноги, посмотрел вокруг. Клуб был старое здание — с колоннами, облупленное, с выбитыми окнами на втором этаже. Перед ним стояла толпа. Человек двести, может быть, триста — старики, женщины, дети, — все в чёрных, серых, бурых пальто, все мокрые, все с одинаковыми, серыми, усталыми лицами. Они стояли молча. Никто не разговаривал. Только дети иногда переступали с ноги на ногу, и под ними хлопала вода.

Аркадий открыл фургон, стал выгружать коробки. Работал он быстро, привычно. Ящики с едой, ящики с водой,

ящики с лекарствами. И отдельно — маленькие, белые, с красным крестом, — ящики с таблетками. Эти он выгружал осторожно, отдельно, потому что знал, что за них люди готовы на всё.

Люди смотрели на коробки. Молча. И в этом молчании было что-то такое, отчего Аркадию стало неуютно. Он работал и не поднимал глаз. Он чувствовал на себе эти взгляды — сотни взглядов, — и ему казалось, что его самого сейчас разберут на части, как эти коробки.

IV

Раздача началась в шесть. Люди выстроились в очередь — длинную, извилистую, как река. У входа в клуб стоял стол, за столом сидела женщина — из администрации, — и рядом с ней два охранника, которых, впрочем, было не нужно, потому что никто не буянил. Пока не буянил.

Аркадий стоял в стороне. Ему нечего было делать. Груз он сдал, документы подписал, и теперь ждал только расписки, чтобы ехать обратно. Он курил — он курил редко, но здесь, в этой серой, мокрой, чужой степи, ему захотелось, — и смотрел, как идёт выдача.

Первыми шли старики. Они подходили к столу медленно, опираясь на палки или на руки детей, и получали пакеты — с крупой, с маслом, с консервами, — и уходили, кланяясь. Никто не улыбался. Никто не говорил спасибо. Только кивали — коротко, сухо, как кивают люди, которые привыкли получать не от щедрости, а по праву, и права этого не чув-

ствуют, потому что оно давно перестало быть радостью.

Потом пошли женщины с детьми. Потом — все остальные. И вот тут началось.

V

Сначала ничего не было. Просто одна женщина — полная, в платке, с красным, распаренным лицом — подошла к столу и сказала, что ей надо две порции таблеток, потому что у неё сын и мать. Женщина за столом сказала: одна порция на человека. Плакала полная: а мать лежащая, ей надо больше. Ей сказали: всем надо. Она сказала: вы не понимаете. Ей сказали: следующая.

И тут полная женщина не отошла. Она стояла у стола и говорила. Она говорила громко, и голос у неё дрожал, и в этом голосе было столько обиды, столько усталости, столько всего, что накопилось за годы, что люди в очереди начали оборачиваться.

— Вам легко говорить! — кричала она. — Вы тут сидите, вам тепло, вам привезли, а мы тут живём, как собаки! У меня мать лежит, она не встаёт! Она не встаёт, понимаете вы или нет?

— Гражданка, отойдите, — сказал охранник.

— Не отойду! Я за мать! Мне за мать надо! Вы тут сидите, а мы... — Она заплакала. — Мы тут всю жизнь живём. Мы тут родились. Мы никуда не уехали. Мы вас ждали. А вы...

Что «вы» — она не договорила. Она махнула рукой и отошла, утирая лицо платком. Но в очереди уже поднялся гул.

И этот гул был страшнее её крика.

VI

Потом началась драка. Не настоящая, не с кровью, — а та мелкая, липкая, унижительная драка, которая бывает в очередях, на вокзалах, в больницах. Двое мужчин — немолодых, в телогрейках, — схватили друг друга за грудки из-за коробки консервов, которая упала на землю. Один кричал: «Ты взял моё!» Другой кричал: «Ничего я не брал!» Их растащили. Консервы подобрали. Коробку раздавили.

Аркадий смотрел на это и не мог двинуться с места. Он стоял с сигаретой в руке, и сигарета догорела до пальцев, и он не заметил. Он видел, как женщина за столом, устав от всего этого, стала выдавать по две, по три порции, только чтобы быстрее, только чтобы все ушли. Он видел, как охранники отвернулись и смотрели в сторону. Он видел, как люди хватали таблетки и прятали их за пазуху, озираясь, как воры.

И он думал: вот. Вот эти самые таблетки. Они продлевают жизнь. Они лечат. Они — победа над смертью. Их делают в институтах, где сидят умные люди в белых халатах, и эти люди уверены, что творят добро. А здесь, в этой степи, в этом мокром клубе с выбитыми окнами, эти таблетки стали поводом для драки, и никто не думает о том, что они лечат. Все думают только о том, чтобы взять больше. И это — люди. И это — будущее. И это — конец истории.

Он бросил окуроч в лужу. Окуроч зашипел и погас.

VII

Он пошёл к машине. По дороге его остановила старуха — маленькая, сухая, в чёрном платке, с лицом тёмным и сморщенным, как земля в засуху. Она держала его за рукав.

— Сынок, — сказала она. — Ты не сердись на них.

— Я не сержусь, — сказал Аркадий.

— Сердишься. Я вижу. Ты думаешь: вот дикие люди, вот хамки. А ты не думай так. Ты не жил тут. Ты не знаешь.

— Я не думаю.

— Думаешь. — Она смотрела на него, и глаза у неё были ясные, молодые, не такие, как лицо. — Ты думаешь: чего они дерутся из-за каких-то таблеток. А ты не знаешь, что тут было. Тут три года воды не было. Три года! Мы копали колодцы — сухо. Мы просили дождь — не было дождя. Мы продали коров, продали овец, продали всё. А потом пришла вода — и всё смыла. Всё, что осталось. И вот вы привезли таблетки. А зачем мне таблетки, сынок? Мне не таблетки нужны. Мне нужен мой дом. Мой дом, который смыло. И корова, которую я продала. И муж, который умер, потому что пить было нечего. Вот что мне нужно. А таблетки... — Она махнула рукой. — Таблетки — они что? Они жизнь продлевают. А какая это жизнь? Ты видел, какая это жизнь?

Аркадий молчал. Он не знал, что сказать. Он никогда об этом не думал. Он думал, что жизнь — это хорошо, что жизнь — это главное, что продлевать её — это добро. А теперь, стоя перед этой старухой, он вдруг понял, что не понимает ничего.

— Вы извините, — сказал он. — Я не знал.

— Ничего, — сказала старуха. — Ты молодой. Ты не виноват. Ты привёз — и уедешь. А мы останемся.

Она отпустила его рукав. Пошла к клубу — маленькая, сухая, согнутая. Аркадий смотрел ей вслед, и ему хотелось что-то сделать — дать ей денег, отдать свою порцию, что-нибудь, — но он не знал, что именно, и потому ничего не сделал. Он сел в машину и закрыл дверь.

VIII

Он поехал обратно ночью. Дорога была та же — размытая, тёмная, — и машина ехала сама, ровно, спокойно, а он сидел и смотрел в окно. За окном была степь — чёрная, мокрая, мёртвая. Ни огонька, ни деревца, ни звезды. Только время от времени — далёкий, одинокий свет, который тут же пропал.

Он думал о старухе. О её словах. О том, что таблетки продлевают жизнь, но не возвращают её. О том, что он вёз этим людям будущее, а будущее оказалось им не нужно, потому что у них нет настоящего. Он думал о том, что в мире, где он вырос, всё было гладко и хорошо, и в этом мире никому не приходило в голову, что можно кричать, драться, хватать за грудки из-за коробки консервов. А здесь — кричали. И он вдруг понял, что здесь — настоящее, а там, где он жил, — декорация.

Он включил радио. По радио играла музыка — тихая, спокойная, — и голос диктора говорил о том, что челове-

ство достигло новых успехов, что продолжительность жизни увеличена, что экология улучшилась, что будущее — светло. Аркадий выключил радио. Он вдруг почувствовал, что не может больше это слушать. Не потому, что это было ложью. А потому, что это было правдой — и правдой ненужной, правдой, которая ничего не значила для тех, кто мёрз в очереди у клуба.

IX

Он приехал в Москву утром. Город был чистый, светлый, счастливый. Машины ехали беззвучно, люди шли улыбаясь, дроны летали над крышами. Всё работало. Всё было хорошо. Аркадий остановил машину у своего дома, вышел, потянулся. Он был уставший, грязный, голодный. Он хотел спать.

Дома его встретила мать — женщина лет пятидесяти, полная, добрая, в фартуке, — и сразу начала говорить: где ты был, почему не звонил, я волновалась, я не спала, у тебя лицо серое, ты похудел, садись есть.

Он сел есть. Она подала суп, котлеты, чай. Он ел и слушал, как она рассказывает — о соседке, о ценах, о том, что в подъезде починили лифт. Обычные слова. Обычный день. Обычная жизнь.

— Ты чего молчишь? — спросила она.

— Устал.

— Ну поспи. Поспи, сынок. Завтра отдохнёшь.

Он лёг. Закрыл глаза. И заснул — сразу, как провалился. И во сне он снова ехал по этой степи, по мокрой, мёртвой

дороге, и впереди был город с выбитыми окнами, и у клуба стояла толпа, и все молчали, и в этом молчании было что-то страшное — не злоба, а что-то большее, что-то, чему он не знал имени.

Х

Проснулся он вечером. В комнате было темно. За окном горели фонари — ровные, белые, вечные. Он лежал и смотрел в потолок. И думал о том, что он вёз этим людям жизнь — в коробках, с красным крестом, — и что эта жизнь никого не спасла. Он думал о том, что технологии научились продлевать жизнь, но не научились делать её сносной. Что они победили смерть, но не победили хамство, не победили одиночество, не победили тоску. И что, может быть, это самое главное, а всё остальное — только коробки, которые он возит по размытым дорогам.

Он встал. Прошёл на кухню. Мать спала. Он налил себе воды, выпил. Потом подошёл к окну. Москва светилась — вся, до самого горизонта. Где-то там, далеко, за этими огнями, была степь. И город Ново-Степной. И старуха в чёрном платке. И очередь у клуба. И таблетки, которые никто не ценил, потому что жизнь, которую они продлевали, была не нужна.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.